

ЕКАТЕРИНА ПОСПЕЛОВА

КАК Я

ВЫСТУПАЛА

В ОПЕРЕ



«Я ЗАВИДУЮ
ЕКАТЕРИНЕ ПОСПЕЛОВОЙ,
КОТОРАЯ ЖИВЕТ В МИРЕ,
В КОТОРОМ ОДНОВРЕМЕННО
СУЩЕСТВУЮТ ПАНКИ,
ВОДКА, ОПЕРНАЯ СЦЕНА,
ПУШКИНСКАЯ ТАТЬЯНА
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
КОНСЕРВАТОРИИ,
ПРИЧЕМ В САМОМ
ЧТО НИ НА ЕСТЬ
РЕАЛЬНОМ ВИДЕ».

ВЛАДИМИР ЗИСМАН



Екатерина Глебовна Поспелова

Как я выступала в опере

Серия «Записки музыканта»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26717576

Как я выступала в опере / Екатерина Поспелова: АСТ; Москва; 2018

ISBN 978-5-17-107970-3

Аннотация

Автор книги – музыкант, режиссер, переводчик и автор оперных либретто. Лауреат премии «Золотая Маска» (2016). Ее дебютная книжка состоит из смешных и лирических зарисовок с натуры, острых профессиональных наблюдений, воспоминаний о детстве и замечательных людях, встречавшихся на пути. А главное, рассказы Екатерины Поспеловой – верное средство от уныния и самоучитель радости жизни.

Содержание

Дело не в берете	5
Инициация Валеры	9
История одной кражи	18
Козловицер и Зуся	24
Как я провела выходной	34
Про корысть	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Екатерина Поспелова

Как я выступала в опере

«Документальные истории Екатерины Поспеловой – чистое читательское счастье. Их можно только обожать. И ржать, смеяться, хохотать, всхлипывая и утирая слезы. Эта книга – гимн жизни, как выясняется по прочтении, гармоничной, веселой, переполненной музыкой, трогательными нелепостями и любимыми людьми».

Майя Кучерская

«Читателям этой книги предстоит встреча с интересным, наблюдательным, неунывающим собеседником.

Автор пишет непринужденно, с подкупающим юмором и изяществом. Подобно художнику – графику и живописцу – Екатерина Поспелова „работает с натуры“.

Ее взгляд так сосредоточен на „предмете изображения“, что кажется – эти образы возникают и оживают как бы по собственной воле. Но именно перо автора, столь внимательное к деталям, делает их такими живыми и обаятельными».

Леонид Зорин

Дело не в берете

Многим любителям оперы давно известен бородатый анекдот про «Зеленовый берет». Каждый работающий в опере человек, будь он хоть двадцати лет от роду, рассказывает его про свой театр, дескать, у них это случилось.

Меж тем, анекдоту лет сто – и было ли такое вообще, бог весть...

Так вот: говорят, что сопрано, поющее Татьяну из оперы «Евгений Онегин», в костюмерной потеряло малиновый берет и надело зеленый, а, видя такое, верный реалистической традиции баритон Онегин переиначил свой вопрос и спросил: «Кто там в зелёновом берете?» После чего его собеседник бас, князь Гремин, от удивления спел: «СЕСТРА моя», – а педантичный и дотошный Онегин уточнил тогда: «Так ты СЕСТРАТ? Не знал я ране», – и т. д.

Но я описываю лишь случаи, которым сама была свидетельницей. И вот подумала: хоть и забавна эта старая хохма, но насколько действительно происходящее на сцене всегда смешнее бородатых анекдотов...

Итак...

С беретом все было как раз хорошо, он был нужного цвета.

Но именно в этом легендарном речитативе оперы после

вопроса:

– Кто там в малиновом берете? – прекрасный бас Гремин спел свою реплику:

– Ага! Давно ж ты не был в свете? – и, поскольку получилось складно и в рифму, он счел, что уже молодец, и продолжение петь не стал.

Баритон же Онегин, чувствуя, что оркестр уходит вперед, а коллега молчит, пропел за него, изменив чуть-чуть грамматическое лицо и сократив убегающие длительности:

– Позволь-КА ЕЙ представлюСЬ Я...

Гремину ничего не оставалось, как продолжить:

– Да кто ж она? (Ему, как нянюшке, «зашибло».)

А Онегин на это – назидательно и выразительно (как бы – опомнись, «нас окружают»):

– Жена ТВОЯ!

Гремина это открытие ошеломило. Он обмер и спел реплику Онегина в недоумевающую малую секунду:

– Так Я женат? Не знал я ране...

(О, ранний «эклер»! Гремину было лет тридцать пять, как говорит литературовед Лотман.)

Тут Гремин-бас вспомнил (хоть и зря), что у баритона, чьей партией он нечаянно завладел, это не вся реплика, и, не желая повторить свою былую ошибку, страдальчески продолжил:

– Давно ли?

Онегин (нажимая и умоляюще взглядом: пропадаем!):

– Около двух лет!!!

Гремин (совсем падая духом):

– На ком?

Онегин (боже мой!):

– На Лариной!

Гремин (ааааа – точно!):

– Татьяне???

Онегин (интимным ходом вниз по терциям, вроде как: ну, парень, дал ты мне поволноваться...):

– Я ей знаком...

Гремин (слава богу, пронесло):

– ТЫ ИМ сосед!!!

Тут все вернулось на круги своя, и Гремин пошел петь вожделенную залом арию в Ges-dur-e: «Любви все возрасты покорны».

(Дескать, и маразматика тоже.)

В зале никто ничего не заметил.

Заметили сами бас с баритоном, помреж, следящий по нотам, окружающие генералы и Татьяна.

Да я.

Арию Гремин спел странно. Пытался отвлечься от клоко-чущей смеси смеха, испуга и облегчения – «пережал» страшно, но некоторые любят, когда так.

Онегин все время отворачивался, как бы пораженный глубиной чувств князя, и утирал украдкой глаза – это очень да-

же мило было.

Татьяна мелко вздрагивала в своем кресле и пряталась за веер.

Хор стоял, нарочито мрачен и суров, чтоб не прорвалась все сметающая «бугага».

Меня, стоящую за кулисами, и помрежа никто не видел, поэтому мы катались в родовых муках.

Публика была в восторге.



Инициация Валеры

Из всех походов в буфет обычно самым сладким был первый: утром перед репетицией, как правило, я не успевала или не хотела есть, в перерыве буфет был закрыт, и только в два удавалось наконец припасть к чашечке кофе и к крабовому салату. (Причем я заметила: от русской музыки в животе урчало сильнее, чем от итальянской.)

И вот я поворачиваюсь от стойки, чтоб сесть за стол, и вижу, что в углу одиноко сидит наш новенький баритон Валера, высокий, красивый и очень молодой парень. Он еще никого не знал в театре, скромно ел котлету, поминутно оглядываясь на веселые компании по соседству, которые еще его не принимали.

Я села к нему, спросив разрешения, и мы разговорились. Кто он, откуда, где пел, какие композиторы ему нравятся. Он очаровательно улыбался, но был напряжен: ждал, когда прозвучит по радио помреж с объявлением. И вот голос над ухом сказал: «Солистов, отъезжающих в город Р., просим пройти к служебному входу». Валера раскланялся, отнес тарелки и быстро ушел.

К воротам подали микроавтобус. Туда погрузили портпледы с платьями и фраками, потом в автобус залезли две хохотушки: колоратура Наташа Ш. и меццо Маша М., моя

любимая пианистка Таня С. и Валера.

Все они ехали с продуманной оперной программой в один из подмосковных городов.

Дорога занимала часа два. Портпледы повесили на ручку от подъемного окна в середине салона, и сидящий одиноко Валера за ними спрятался, но то и дело бросал застенчивые взгляды на веселых и что-то бурно обсуждавших девушек, которые не обращали на него внимания.

Как вдруг одна из них, отодвинув качающийся на вешалке фрак, закричала через шум мотора:

– Слушай, как тебя (тут она назвала его фамилию), ты – крепкий мужик?

– Я... крепкий. И... я Валера, – сказал Валера.

– Отлично, Валера так Валера. Ты можешь меня сегодня отнести и вынести на плече?

– Я? – Валера покраснел.

– Короче, – Наташка Ш. нетерпеливо махала рукой, – я хочу Олимпию спеть, а она, ну, это, – кукла. Ее надо выносить, потом два раза заводить ключом, а потом унести назад, когда я ломаюсь.

– А, понял, – показывая, какой он сообразительный, отвечал Валера, – я видел постановки...

В опере Оффенбаха «Сказки Гофмана» действительно ученый-физик демонстрирует гостям свою дочь-гомункула – прекрасную куклу Олимпию, которая очень виртуозно и смешно поет песенку «Les oiseaux dans la charmille», но два

раза ломается и с протяжным стоном прерывает свое механическое пение.

– Ну, и прекрасно, – сказала Наташа, выдохнув, – ты там свои песни споешь, а потом меня вынесешь. Если даже надорвешься, ничего, ты все свое уже отпел.

Валера подумал: вот каких бы комплиментов ее миниатюрности наговорил бы тут баритон Ф., но сам он пока такой прекрасной развязности не обрел. И кивнул, еще более покраснев.

– Ну, все, – и девицы опять потеряли к нему интерес.

В зимних сумерках достигли наконец города Р. и подъехали к какому-то серому и невзрачному зданию.

– Вот тут, – сказал шофер, виновато оглядываясь на Татьяну С., главную и ответственную в компании.

Певцы вышли и осмотрелись. Никаких афиш, говорящих о приезде московских солистов, не было, вместо них висел лист бумаги с надписью: «Распродажа пальто».

Никто не встречал.

Кроме того, как только они вошли в здание, послышалось равномерное и громкое «умц-умц» откуда-то снизу, как будто в подвале шла дискотека (что потом и подтвердилось).

Наконец вышел какой-то загвохлик в трениках с пузырями на коленках и сказал, что он «весь уже прям изождался» приезда оперы и просит всех идти за ним, он покажет зал и примерку.

В тоскливом, советского типа конференц-зале у стены

стояло облупленное пианино.

Загвохлик и Валера с трудом выкатили его на сцену, так как у него было три колесика вместо четырех.

Прекрасная Таня С. в накинутом на плечи пуховике (было холодно, и пар шел изо рта) села за пианино и взяла несколько арпеджированных красивых аккордов.

Красиво не получилось, потому что пианино стукнуло и стало заваливаться на Таню, и две-три черных клавиши оторвались и полетели на пол.

Валера героически бросился на помощь. Нашел какие-то чурбачки, подложил под пианинный угол.

Таня хмуро достала откуда-то скотч и приклеила ля-диез и ре-бемоль на место.

– Я не первый раз в такие места езжу, – сказала она удивленному Валере.

...В темноте зала появились три-четыре старушки с сумочками и робко сели в восьмом ряду.

Таня быстро «распела» Наташу и Машу, что-то поправила карандашом в программке, и все пошли переодеваться.

В миг начала концерта Таня заглянула в зал. Старушек было пять. Таня забеспокоилась и позвала того, с пузырями.

Он явился и флегматично спросил:

– Что, водку уже нести?

– Какую еще водку! – внезапно закричала Таня. – К вам приехал столичный театр петь оперную музыку! А у вас черт знает какое пианино, клавиши отлетают, холодно, и даже

афишу сделать не потрудились! Может, вы и время перепутали?!

– Нет, – сказал дядька в трениках, – все нормально, публика в зале.

– Ах, это публика?! – Таня потеряла дар речи. – Немедленно ведите меня к вашему директору!

Таня человек не гневливый, но тут ее проняло не на шутку, обида и возмущение душили – так, что директор испугался. Он вскочил из-за стола, взял Таню за руку, просил успокоиться и обещал, что через пять минут публика будет, будет, полный зал будет!

Ничему не поверив, Таня почти в слезах вернулась за кулисы.

Но вот чудо – судя по звукам из-за двери, ведущей на сцену, зал действительно стал наполняться. Гул голосов становился все гуще, причем странный какой-то был шум, не такой, как обычно слышишь из-за кулис.

Умирая от любопытства, девушки приоткрыли дверь... и обмерли, как пушкинская Татьяна в своем сне в «Евгении Онегине»: пять старушек сидело с краешку, в ужасе прижавшись друг к другу, а на остальных местах сидели... панки.

«Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой».

Вот без преувеличений.

С зелеными коками, бритые, в булавках и сапожищах.

Певицы и Таня обомлели.

И тут поняли, что тяжкое «умц-умц» из подвала вот уже минут пять как не умкает...

Тут пришел директор и радостно сказал:

– У меня, так сказать, молодежная субкультура арендует подвал под свои тусовки. Я им пошел щас и сказал: «А ну идите все на концерт классической музыки, а то я вашу оргию позакрываю на фиг!»

Директор был страшно горд собой.

Надо сказать, концерт прошел замечательно.

Неистовые приветственные крики раздавались тотчас же, как только декольтированные девушки показывались из-за двери, потом – когда выходили к пианино, стоящему на чурбачках, а также при каждом жесте оголенной руки, при каждом движении и на каждую высокую ноту или пассаж.

Старушки сначала совсем испугались, а потом вдруг преподали панкам неожиданный урок – высоко поднимали руки, хлопая, – как бы показывая молодежи, каким именно образом надо поощрять классических исполнителей. Панкам этот номер очень понравился, и они весь концерт старательно отбивали себе ладоши.

Аплодировали почти все время.

Валеру тоже хорошо и по-мужски поприветствовали, а после спетого им грустного романса «Как мне больно» кто-то в зале сказал:

– А чо, реально, я чуть не заплакал, блин.

Номер «Кошки» Россини почти провалился, – панки на «мяу-мяу» в исполнении девушек стали ржать и подмьукивать так, что Таня за роялем смахивала слезы, а сопрано и меццо еле домяукали до конца.

В финале Наташка спела куклу Олимпию.

Валера очень волновался в предчувствии момента, а когда тот настал, снова покраснел, как мак, обхватил обеими руками Наташку за корсет и понес навстречу почти людоедскому воплю из зала. Сделал несколько вращательных движений, как бы ключом, у Наташки за спиной и артистично отступил на носках.

Наташка запела, сгибая руки лопаточками и по-кукольному крутя головой. Все выше пассажи, все тоньше рулады и колоратуры...

Панки как-то крякали и почти стонали...

Наташка вдруг тревожно пискнула в третьей октаве, потом еще пискнула, скатилась на глиссандо, согнулась резко пополам, качнулась и замерла с упавшими руками, свесив белокурые локоны почти до полу.

Панки ахнули.

Валера, в азарте от ответственной роли, подошел, покрутил опять воображаемый ключик у Наташки между планок корсета, насупился, сделал обреченное лицо, взял куклу-Наташку на плечо и пошел к дверям.

А та, вися через его плечо, болтая кудрями, незаметно для зала била его по спине кулаком и шипела:

– Дуррррак! Куда ты меня понес? У меня еще каденция!

Похолодевший Валера вспомнил, что кукла ломается два раза и уносить надо после второго... Он резко повернулся, принес куклу обратно, изобразил, что он совсем забыл про какой-то дополнительный ключик, поднял палец вверх, вынул ключик из кармана, показал его панкам, под рев одобрения завел Наташку – и каденция наконец зазвучала...

В конце Наташка взяла ми-бемоль.

Началась стоячая овация с криками.

После концерта и трех бисов панки попробовали было штурмовать гримуборную, но дядька с пузырями встал на смерть, а вовремя подошедший директор ДК прогнал всех обратно на дискотеку.

ДК опять задрожал от тошного «умц-умц», старушки что-то прошелестели благодарственное, подарили всем исполнителям по маленькой шоколадке, а Таня, упав в кресло, сказала дядьке с пузырями:

– Ну, давайте уже вашу водку.

Часов в восемь мы ужинали с Таней в буфете, перед закрытием. Я закончила репетиции, Таня рассказывала мне всю эту историю, а Валера сидел, возбужденный и румяный, за соседним столиком, в окружении Наташки, Машки, теноров и баритона Ф., который, обнаружив в меню «Сердце куриное», зычно пел на весь буфет:

– Сердце куриное с курами ешь, Мизгирь!

...Сейчас Валера давно поет в Метрополитен и в других замечательных театрах планеты.

Имя его я изменила, но шлю ему тут огромный и нежный привет.

История одной кражи

Когда мы уезжали в походы, я изнывала. Сборы и вокзальная сутолока внушали мне тоску, и мучительно тянуло в животе. Я слонялась и страдала над открытыми ящиками...

Папа занимался байдаркой, сдержанно гордясь своей новообретенной компьютерной удачью. Он заказал новую резину к нашему «Таймену» по интернету и принял покупку, расписался, а потом разложил этого выдохнувшего полосатого кита пяти метров длиной у нас в коридоре, тщательно проверил швы, посыпал какой-то присыпкой, свернул и запаковывал в «снасть». Там, помимо резины, были голубые дощечки сидений, педальки руля и шпангоуты (ребра байдарки).

Вторая снасть, длинная, в иссушенном времени и солнцем выгоревшем мешке, содержала стрингера (кости байдарки) и собственно весла.

Мама собирала вещи и еду, заполошно сновала по квартире среди разбросанных мешков, пакетов и пакетиков, раздражалась и никак не могла расшифровать какие-то свои же очень важные записи в бесконечных маленьких тетрадочках за три копейки, в которых она кратко и афористично записывала всякую чепуху, а потом не могла вспомнить, что имелось в виду.

Например, что такое: «Катя – ноги», «Дуры – 18» и «Че-

бутыкин»...

Путем больших умственных затрат удалось понять, что первое – это взять из починки мои ботинки, а второе – принять экзамен восемнадцатого июня у не сдавших курсовые студенток; но «Чебутыкин» долгое время оставался неразъясненным, пока случайно, благодаря какой-то ассоциации, не вспомнилось: Чебутыкин – значило: поблагодарить Т. П. Родину за билеты на «Трех сестер»...

Но вот позади нервные сборы и обусловленная дороговизной обходительность таксиста, – и мы стоим с вещами на платформе северного вокзала.

Три рюкзака, две снасти и мамины пакеты и мешочки.

Перемаргивают указатели, пахнет характерной смесью гари и железа, подрагивают в знойном воздухе провода, и разносится над путями двоящийся металлический голос, объявляющий прибытия и отъезды.

Нашего поезда еще нет, и я, оставив родителей с вещами, убегаю в вокзальный тубзик, страшное место, где надо на пять минут забыть, что у тебя есть чувства.

Возвращаясь, вижу родителей, которые подходят к нашим вещам с только что купленной бутылкой минеральной воды.

Еще минуту стоим, ждем.

Папа отвинтил голубую пробочку и булькает, утоляя жажду.

Внезапно все мы трое понимаем, что простенок, где только что была прислонена наша «длинная снасть», пуст.

Все на месте – рюкзаки, пакетики...

Но длинной снасти нет.

Нет ее.

Папа бледнеет, у него пустеют глаза, он говорит буквально: «Ах!» – хотя никто так никогда не говорит – и еще он делает то, что называется «всплеснуть руками», то есть поднимает их ладонями вниз, хлопает по джинсовым штанам и становится словно меньше ростом.

Мама, наоборот, собирается, оглядывается и бухтит что-то такое: «Глебчик, Глебчик, все сейчас найдем, не может быть, Глебчик...»

Я отбегаю в сторону, – скорее чтоб не видеть папиного лица, чем в поисках решения.

На вокзале все также равнодушно гудит голос над путями про какие-то «хвосты составов», воробьи клюют гадость на асфальте...

Я гляжу вдоль длинных и насквозь просматриваемых перронов – пустота, зной и тягостное закатное солнце.

И тогда вдруг я побежала, побежала, повинувшись какому-то не оформленному в словах чувству, к ближнему отправляющемуся поезду, который уже пофыркивал.

Брякнула подножка, я стукнулась об угол – и оказалась в темноватом плацкартном вагоне, душном и уже каком-то неприятно-обжитом, с тапочками и чьими-то пятками в перспективе.

Боже, что я тут делаю?

В первом закутке сидели четыре вялых мужика, откупоривая батарею пива на столе...

Дальше выглянула веселая девушка и кивнула, по проходу шел мятый проводник.

А над мужиками, на багажной третьей полке, лежала наша снасть в линялом родном брезенте, наши весла и стрингера...

– Провожаящие, выходите скорее, – тревожно сказал проводник.

Не слушая, я обеими ногами встала на мужичьи полки и потянула снасть к себе. Она накренилась и поехала вниз.

– Помогите, – коротко сказала я.

Один из мужиков, возможно, тот, кто крал, вскочил и со словами: «Осторожно, что ж вы, девушка» помог мне стянуть снасть вниз. Я схватила ее в охапку и выбежала прочь из вагона на перрон.

...пекло солнце,

...я пошла назад, к родителям,

...папа стоял спиной,

...мама сощурилась на меня издали и тронула папу за рукав,

...папа обернулся и еще раз сказал: «ах»,

...за моей спиной поезд с вагоном, где я только что была, лязгнул и поехал...

Я тихо подошла и поставила длинную снасть на прежнее место.

На все это – от «ах» до «ах» – ушло минуты полторы.

Помолчали.

Потом подали наш поезд.

– Давай в две ходки, Глебчик, – осмелилась только сказать мама, но папа взвалил на себя рюкзак, взял обе снасти и пошел по перрону.

Мы со своими мешками и пакетиками бежали рядом, задыхаясь и боясь сказать слово...

Сели.

Через полчаса и наш поезд выдохнул, дернулся и тихо пополз вдоль платформы.

Купе было изумительное, проводница – красавица, простыни сияли белизной, янтарный чай покачивался в мелко звенящих подстаканниках, рафинад был в опрятной зеленой бумажке.

Мы довольно рано легли – и только тут весь этот морок слетел, и нас разобрало.

Я на верхней полке изнывала от смеха до боли в ребрах.

Мама смеялась с театральными протуберанцами.

Папа, закрывшись уютно простыней и сплетя пальцы на груди, не открывая рта, делал как-то так: ф-ф-ф-ф и снова ф-ф-ф-ф...

Босой ногой я поглаживала багажную полку, где поверх рюкзаков лежала наша длинная снасть, похищенная и в минуту возвращенная невеста, покачивалась и почти не дребез-

жала, виноватая.

Сладкий сон под тыдых-тыдых сморил довольно быстро, и мне уже снилось, как через сутки я впервые погружу в сияющую прозрачную толщу воды светло-алюминевую лопасть с тремя заклепками, весло выпустит несколько зимних пузырьков и, улькнув, уйдет вниз.

Лодка качнется – потому что с кормы, оттолкнувшись, сядет папа.

Потом развернется перпендикулярно берегу и боком к полуденному свету, и наши три сидящие тени в кепочках отражатся в солнечном ребристом песке мелководья...

Козловицер и Зуся

В детстве было два кошмара – школа и исправление зубов.

Школа, по правде говоря, меня обидела только своей ненавистной, из морозной тьмы вырастающей, непреодолимой повседневностью.

Так же, как до этого нас с братом ужасно оскорблял садик.

Бывало, папа тащит во мраке зимнего утра Петю, одетого в две пары рейтуз, шубку, валенки и варежки на продетой в рукава резиночке, цигейковую шапку с тошными и скрипучими при завязывании ленточками поверх платочка, – тащит, значит, папа его в садик, а Петя шипит мрачно:

– Гадина все-таки эта Крупская...

– Почему это гадина Крупская? – неволью прыская, говорит папа, тоже не слишком счастливый от раннего, еще прилунного подъема из теплой кровати.

– Она придумала детские сады, – гундосит Петя.

В школу нас уже никто не водил. Время было такое безопасное – малыши ходили сами.

Родителям было не так противно, а нам-то...

Меня, в зимнем этом, шерстящем во всех местах и неудобном скафандре, выпинавали из подъезда (в лифте все-таки кто-то провожал, потому что тяжести было мало, чтоб лифт поехал), и это было вдвойне обидно – так как по-

нятно было, что провожающий, томный, теплый и в чем-то наспех запахнутый, сейчас вернется обратно и придавит еще пару часиков в полумраке и пахнущих сном подушках...

И вот – ночь, улица, фонарь, тебе семь лет... И только в десяти минутах – неоновый дребезжащий гул освещенной школы, жуткий гул, резвые одноклассники, которые как будто вообще не спали только что – и не испытывают всего этого экзистенциального ужаса.

Так прошло пять лет, пока не появился Зуся.

Почему-то самым страшным уроком был для меня – труд.

Шитье, мать его.

Все девчоночки приходили, снабженные модными линейками, добротными кусками ситца из нашего ближайшего магазина, миллиметровой бумагой и опрятными ручками, карандашами и ластиками.

У меня всегда или не было вообще ничего, или была старая миллиметровка, оставшаяся от брата, странные отрезки от непонятно какой тряпки, линейка, принадлежавшая еще дедушке А. А. Реформатскому и прочее, фамильное, но постыдное и неприемлемое на уроках. Легкомысленные родители следили только за тем, чтоб я прочитала все по литературе.

А на труде творили высокую науку! Л. А. Пыхова, так звали нашу училку по шитью, диктовала бескомпромиссным голосом: «ДТС, деленное на два» – и прочие грозные вещи. Это все надо было знать назубок, чтоб скроить убогий хо-

зыйственный фартук с тесемочками – мамочке на восьмое марта.

Я знала, что мамочке, совершенно бесхозяйственной и передавшей все домашние заботы нашей няне, это все на фиг не нужно. Но на уроках сгорала от унижения и собственной беспомощности – и выпрашивалась в туалет.

На первом этаже была столярная мастерская, где в тот момент, когда мои товарки осваивали «ДТС, деленное на два», наши мальчишки точили и вырезали непонятные, но приятные на ощупь детали на станках.

Я, праздншатающаяся, втуалетвышедшая, приникала ухом.

Там был визг станков, какие-то прекрасные б́уханья и скрежет, уютный матерок трудовика. Мальчишки его обожали и не сдавали начальству, несмотря на то что он открыто хранил водочку и портвешок, ставя их на полку между фла-гами с маслом для смазки станков.

Зуся (производное от его фамилии) был на два года старше. В тот момент, как я пыталась замотать вопрос отсутствия у меня новой миллиметровки и правильной ткани, он с друзьями тоже прогуливал что-то и КУРИЛ! на лестничной площадке.

Вот это супермен!

И вот как-то от группы опасных и стремных старшеклас-сников, которые говорили на непонятном языке, отделился он, Зуся, красивый, атлетический, прекрасный и взрослый

– и задал мне пару вопросов, на которые я отвечала дерзко, помнится, что-то: «А пошел ты в жопу» и пр., – короче, очень грубо отвечала. Но он стал с тех пор моим надежным рыцарем, поклонником, защитником, сопровождающим меня повсюду другом – и главным воспоминанием тех лет.

А ведь в его седьмом «Бэ» классе были такие признанные всей школой красавицы, про которых даже на стене писали: «Коврова и Полатина – подстилки!»

В школе он «ничего такого» себе не позволял. Поэтому ничего из школьных стен мне и не запомнилось. Разве только я видела порой, как он зыркал на моих одноклассников, желающих со мной пококетничать, то есть точным ударом по заднему углу выбить портфель или больно дернуть за косички...

Попытки эти вскоре резко прекратились – Зуся строго за такими вещами следил, уж не знаю как. Вероятно, сами одноклассники ретировались подобра-поздорову.

Но после уроков, когда я шла с подружкой Ирккой Ф., болтая и преувеличенно эмоционально делясь впечатлениями, которых тоже не помню, всем существом, а особенно затылком ощущала, что позади, метрах в пятидесяти, шел Зуся, глядя на меня и ожидая момента, когда я распрощаюсь с Ирккой, проглоченной своим подъездом, – чтобы ускориться (я делала вид, что просто иду дальше), нагнать меня и молча взять мой портфель, который, конечно, мне уже было не дотащить до ближайшего дома.

С той памятной встречи на лестничной клетке у кабинета труда школа уже не казалась мне крошечным адом, и я даже иногда просыпалась сама до будильника.

С зубами было хуже.

Мы с Петькой с детства обладали крепкими, крупными, но чрезвычайно кривыми зубами – в папу.

Не знаю, как с этой проблемой справлялся брат, но я еще до того, как родителей кто-то вдохновил отвести нас к ортодонту, понимала, что моя улыбка очень далека от голливудской, – и научилась улыбаться, не разжимая губ, тоже как папа.

Но урочный час настал, – и сначала брата, а потом меня постиг этот унижительный и страшный кошмар с исправлением зубов.

Пару раз в месяц мы ездили на двух автобусах на Фрунзенскую, где принимали три врача: Козловицер, Спивак и Туркенич. Почему-то эти фамилии засели в голове и, видно, уже никогда не забудутся.

Молодой и красивый Туркенич часто выходил к страждущей очереди, выносил каких-то игрушечных пупсов, чтоб порадовать сидящих к нему мам с отпрысками.

Нашего надменного Козловицера, который «там был хозяин, это ясно», я видела только в кабинете, сияющем, как чертова лаборатория, блистательного, в окружении толпы студентов клиники.

Обязательно во втором ряду этих молодых эскулапов сто-

ял черный как смоль красавец из Уганды или Ганы, улыбающийся во весь свой ярко-безупречный рот, в укор нам, кривозубым.

Козловицер был мастер от Бога.

Уверенными, прохладными и профессиональными пальцами, отвратительными, как руки брадобрея, он распяливал мой рот и приглашал студентов поглядеть – насколько мои кривые резцы и клыки подтверждают то, что сказано в каких-то их учебниках.

– Смотрите, вот третий класс дуги по Энгельсу! – баритонально гудел он, а студенты из Москвы и Ганы подобострастно-радостно кивали.

Потом мне, спеленутой в фартучек, давали в потные от волнения руки фасолевидную ванночку для слюней, а в рот засовывали, проводя пальцами по деснам, полуциркульную лопаточку с каким-то липким говном. Называлось – снятие слепка. Результаты таких же «снятий», чьи-то ужасные белые челюсти на подставках-брикетиках, стояли вокруг в стеклянных шкафчиках, в гипсовом варианте, прихваченные аптечной резинкой и неразборчиво надписанные ручкой. Бедные Йорики стараний состоятельного Козловицера.

Минут десять надо было терпеть, истекая слюной и слезами, глубоко дыша и удерживая рвотные позывы, пока эту дрянь не вынимали изо рта с сочувственным: «Сплюнь и прополощи», – а тебя с мерзким вкусом во рту не отправляли в морозную синь за пределами теплой клиники.

Через неделю по мерке изготовлялась «пластинка» – интимно прилегающая к твоему нёбу штукovina с кривыми проволочками, захватывающими клыки и задние зубы.

В этом всём надо было ходить. И просто в жизни, и в школу...

Пластиночка была разделена на две части, и прилагался маленький ключ.

Каждый вечер, сняв ее и отплевавшись, надо было вымыть пластиночку под проточной водой и положить в стакан, как в непристойной песенке: «Правый глаз ее в стакане, остальное – на диване».

Но предварительно сделать сакраментальный поворот ключиком, – чтоб пластинка «выросла», следуя за «растущим организмом ребенка».

Мамочка, желая придать этому противному действию культурный подтекст, говорила:

«Это как в опере Бриттена „Поворот винта“...»

Нас с братом эти аллюзии совсем не утешали.

Как-то, выждав момент, когда родителей не было дома (бабушка была глуха или сочувствовала нам, преступникам), мы с братом завернули наши пластинки из стакана в газетку – и спустили в мусоропровод...

Почему-то – вовсе не из-за наших пластинок – мусоропровод в тот роковой день засорился.

Бренные остатки жизнедеятельности встали комом где-то на уровне пятого этажа, и ни туда ни сюда...

Тут брат Петя сказал:

– Знаешь, я инженерный гений! Я придумал как сделать, чтоб мусоропровод прочистился: надо его зажечь!

И, гордый, чирркнул спичкой и кинул туда, вслед за шедевром Козловицера, горящий коробок.

Потом мы, волнуясь, ждали – что будет?

Было все ужасно.

Засор вспыхнул, в трубе загудело, изо всех отверстий повалил дым, подъезд заволокло гарью.

На беду еще испортился лифт, и наши мама с папой, возвращаясь из гостей, зажимали рты и носы, пробегая вверх по промежуточным лестничным площадкам, где из жерл мусоропровода валил тяжкий черный дым.

Врать мы умели плохо. И вскоре вся эта безумная афера с избавлением от пластинок всплыла на поверхность.

Про то, что было нам с братом, умолчу.

Папа быстрыми и решительными движениями вылил в наш, на седьмом этаже, мусоропроводный оскал пару ведер воды, и весь армагеддон вмиг закончился, засор провалился, а гарь проветрили, открыв все окна на этажах подъезда.

Но, что всего ужаснее, – мама полебезила перед дворниками, и они, покопавшись за рупь в полусожженном-полунамокшем грязном и кляклом мусоре, извлекли оттуда ничуть не пострадавшие, чтоб их, технологически-прекрасные, целлюлозно-блистательные изделия Козловицера!..

На следующее утро у меня был день рождения, тринна-

дцать лет.

О том, чтобы провести этот день без пластинки, не могло быть и речи.

Их обдали кипяточком и засунули нам во рты.

Я отстрадала в школе положенные пять часов.

Потом шла с Ирккой Ф., рассказывая ей, с прикрасами, всю эту историю. Ирка была хорошенькая и с ровнехонькими жемчужными зубами, но слушала меня очень сочувственно и у ее дома, чувствуя выжидающий взгляд Зуся за пятьдесят метров, тактично ушла в свой подъезд.

Я, страдая, прошла несколько метров, слыша, как Зуся подходит все ближе.

Во рту было козловицерно и тошно.

Он подарил мне тогда тринадцать тюльпанов.

Мы решили не сразу расставаться у моего крыльца, а погулять в сквере минут двадцать.

Навстречу шли Коврова и Полатина, очаровательные, беззаботные, без пластинок, и в сопровождении Гладмана и Загорулько.

Они поздоровались с Зусей: «Привет, Игорек», нарочито не заметили меня и мой букет и проплыли дальше, в подворотню.

Я сказала, шепелявя:

– Фмотри, какие крафотки в твоём клаффе. А ты гуляеф с уродиной!

– Ну что поделать, – отвечал мой рыцарь, – надо ж кому-то

гулять и с уродинами...

Как я провела выходной

Выходной в театре – это какое-то немислимое, невообразимое, несбыточное и нереальное счастье.

Как правило, он приходится на понедельник, потому что уикенд достопочтимая публика проводит в местах увеселений и наслаждений, которые им доставляет кто? – а мы, работники театра. Обычные люди поспят-понежатся, проведут лениво-празднй день, а вечерком хлоп – да и пойдут в театр музыку послушать.

А там – мы!

Развлекаем, одурманиваем, дарим смыслами, восхищаем и возмущаем!

Но вот выходные прошли, и обычные люди (это такие странные – «не мы» – существа), нагладив загодя рубашки мужьям, поднимаются в предрассветной мгле «трудиться»...

А мы – спим...

Тут подождите и представьте...

Иногда встанешь попить водички часов в семь утра, глянешь во двор: а там все выходят из подъездов, ползут мимо помоечки, в горку, обходя строительство... – ну, не буду злорадствовать, хотя так часто занималась этим, зная, что лично ты-то можешь сейчас вернуться в ароматный ворох тепло-прохладных простыней и придавить еще часа два, или три, или...

Бывают, конечно, печальные исключения – когда часть труппы и персонала в понедельник не отдыхают, занятые в готовящейся постановке, работают...

Но что нам до них, мы свое дело сделали, до девяти в воскресенье работали – и спиммммм...

Но нет.

В одиннадцать раздается звонок из режуправления.

– Пospelова, это вы вчера репетировали до девяти в четвергеста первом?

– Д-да, я, – я хоть и не вокалистка, но голос у меня до полудня не просыпается.

– А ключ на вахту сдали?

– С-сдала...

– А если подумать?

Ах, я уже знаю, что чертово режуправление всегда право и ключ лежит сейчас у меня в кармане пальто...

– Но, – откашливаю я сладкую выходную дремоту, – Тамила Николавна, может, можно взять запасной ключ у охранника? – говорю и кикую, как непрспавшаяся валторна.

– Нееет, нельзя взять, – ожесточенным и стальным голосом щелкает Т. Н., – потому что ваш ключ и есть запасной, а другой ключ унес вчера в кармане концертмейстер Полозков, который еще больший идиот, чем вы, Пospelова, потому что он с ключом улетел сегодня в шесть утра в Астрахань дирижировать «Аидой»!

И гудки.

Суперталантливый пианист Полозков – еще и дирижер, и вернуть его с ключом из Астрахани невозможно.

А я тут, не дирижирую Аидой.

Значит – ехать, отвозить ключ.

Через пятнадцать минут мое такси вырывается на слепящее весенним счастьем Садовое кольцо, а в такси я: наспех умывшаяся, с противным вкусом во рту, ничего не проглотившая, в чем попало одетая.

– Хороший денек, – говорит таксист, – теплынь, как будто и впрямь весна!

– Точно, – вторю я, вдыхая запах весны из открытого оконца такси.

– Вы вот даже в легкой курточке, – кокетливо говорит таксист.

– Дааа, – выдыхаю я, горестно ощупывая пустой карман (ключ-то в пальто), – эээ, пожалуйста, развернитесь...

Через час или полтора приезжаю, сорвав репетицию незнамо на сколько.

Режиссерша, мрачно взяв ключ, уходит по коридору... Репетировать.

А я сегодня не нужна... меня нет в подслеповатом расписании на доске.

Театр по-выходному пуст, репетируют только те, кто заняты в премьерe.

Тихо темнеют большие фикусы в кадках, тянутся ковровые дорожки, дремлют кулеры с водой.

Иди, Катя, домой, доспи, позавтракай, делай свои дела, попиши, порисуй, поиграй на рояле...

Но бацилла театра уже попала в меня и распускается.

Ем в буфете, странно пустом.

Иду на третий этаж, где гримеры.

Ида и Валя валяют дурака, представляя, как будет выглядеть тенор Ступкин и баритон Шведов в париках, которые только что пришли из мастерских.

– Кать, может, постричь тебя? – спрашивает Ида, недовольно оглядывая непричесанную меня.

– Да! Конечно! Постриги!

Под блаженные сплетни обо всех на свете из моей головы делают чудо, которого никогда не видывали наши парикмахерские.

Ида стрижет, а Валя заваривает кофе, которого никогда не дадут в кофейнях.

Комическая сценка при передаче денег. Я хочу дать тыщу, Ида брезгливо морщится, в результате берет половину.

Валя за моей спиной делает ей знаки: чего валяешь дурака? Бери, коль дают.

Ида не берет.

Обе замечают, что у меня не все в порядке с правым башмаком. Ремешок отрывается.

Вдохновение на лицах.

Звонок по внутреннему в реквизиторский цех:

– Ваня, ты на месте? Сейчас к тебе Пospelова придет, под-

клей ей ботинок! А потом к нам дуй!

У них свои планы на Ваню, и я, кажется, помогла в чем-то. Без меня не было бы повода Ване позвонить.

По пустому театру спускаюсь к Ване.

Он старший реквизитор, работает тут еще с тех пор, как наш театр отпочковался от другого, и реквизитор Ваня перешел на новое место, невзирая на понижение зарплаты и прочие неудобства.

У него в подземелье – свои порядки. На стене висит плакат, вязью тщательно самим Ваней написанный и гласящий: «НЕ УЧАСТВУЙТЕ В ДЕЛАХ ТЬМЫ» (ЕФ. 5:11).

Пока Ваня приклеивает мне оторвавшийся ремешок на башмаке, к нему приходят из соседних нор монтировщики: один, Игорь, спросить, когда именно надо уносить скамейку в чистой перемене между первой и второй картиной Риголетто. Я пытаюсь объяснить, но меня монтировщик не слушает, а только Ваню.

Он авторитет, а у меня, вообще-то, выходной, чего лезть-то?

Другой, Илья, состоит у Вани в учениках. Потому что Ваня – меломан. Все полки реквизиторской заставлены грампластинками, по большей части – Гилельса. Ваня принадлежит к партии, которая считает, что истинный пианизм и вдохновенность – это только Гилельс, а Рихтер – это дутая фигура.

Я считаю, что оба они замечательные музыканты, но мол-

чу, потому что Ваня, клея мой башмак, заводит двадцать седьмой концерт Моцарта в исполнении Гилельса (он изумительно играет!), а монтировщик Илья сидит в дверях каморки Вани на корточках и вдохновенно слушает.

Скажи я ему, что Рихтер – тоже музыкант хоть куда, он не поверит, и это пошатнет его универсум, созданный Ваней.

Подклеив мой ботинок, Ваня спрашивает:

– Ну, поняла наконец, что такое настоящий пианизм? – и ревниво следит, как я завязываю шнурки.

Я благодарю, и как свежеподкованная лошадка взбегаю наверх.

В режуправлении уже отошли от гнева за несданный ключ, но свято место пусто не бывает, и распускаются, как вешний куст, еще несколько упреков мне: не доложила, что постоянно опаздывает сопрано Воскобойникова, не подала заявку на ввод артистов в роли Марулло и Борсо, не расписалась восьмого марта за подарок дочери...

На мое счастье звонит телефон – хозяин моей квартиры хочет денег. Я должна была с ним встретиться в два, но, поскольку меня вызвали в театр, обо всем забыла, а он ждет меня на остановке около театра.

А денег-то нет! Они дома!

Все столпившиеся в режуправлении принимают мою проблему как свою.

Не проходит и пяти минут, как я набираю восемь тысяч – с миру по нитке. Все записываю – завтра отдавать.

Убегаю из режуправления, напутствуемая криками:

– Не потеряй, Пospelова, мы тебя знаем, выронишь!

– Что за идиот берет за квартиру на Арбате восемь тысяч?

– Чтоб завтра не опаздывала!

Выйдя на улицу, я не узнаю мира.

Внешний мир и мир внутритеатральный совсем никак не соотносятся.

Пока я стриглась, чинила башмак, слушала Гилельса и собирала деньги, в мироздании произошло примерно то, что сегодня – весну отменили, подул пронизывающий ветер, перехватывающий дыхание, полетел снег, и я, без шапки, перехватывая дыхание, едва добралась до остановки, где меня ждал хозяин моей квартиры – странный субъект, знающий десять европейских языков, но чудик: в шляпе, в тренировочных штанах и со спичками в обоих ушах.

– А, здравствуйте, здравствуйте, – залопотал он, пока я вынимала конверт с собранными деньгами.

– Пересчитайте, пожалуйста, – сказала я, он взял конверт и стал перебирать разномастные купюры, которые мне только что дали певцы, реквизиторы, работники режуправления и еще кто-то.

Внезапно налетел порыв ветра и вырвал у него из рук все это трепетное богатство. Несколько купюр прилипли к нашим пальто, парочка улетела под ларьки, окружавшие площадь, еще несколько закружились над спинами машин, стоявших в пробке на перекрестке.

Ужас.

Мы с чудиком – хозяином квартиры бегали и ловили. Ветер дул, машины гудели, пятисотки разлетались.

Кто-то вылез из машины, отлепил тысячную от лобового стекла и подал мне...

Последние сто рублей нашли под палаткой с газетами... И вот представьте – потеряли всего только тысячу!

Хозяин, безнадежно слушая мои увещевания, что я, мол, завтра же все восполню, запихнул все в пластиковый мешочек, попрощался и ушел в муть пурги.

А я?

Нет бы пойти домой!

А я пошла опять в театр!

Зачем? А рассказать о только что произошедшем!

Заврежуправлением Тамила Николаевна тогда сказала мне:

– Знаете, Пospelова, вы и Полозков, наверное, гении...

– Это почему это? – недовольно спросила я.

– Ну, со мной таких безобразий никогда не происходит...

Не помню, что было дальше, но настали сумерки, день прошел.

Мой законный выходной.

Завтра на работу.

Про корысть

Вот смотрю я иногда на себя с холодным вниманием и думаю:

В сущности, я человек бескорыстный.

А внутренний голос говорит: «лжешь».

И впрямь.

Правда, чаще корысть не задумывается мной специально, а получается сама.

Расскажу две истории.

Работала я несколько лет режиссером по вводам в театре «Новая Опера». И там был один спектакль, который мне чрезвычайно нравился, а народ почему-то плохо шел на него. Некоторые мои коллеги, и даже начальство, высказывали предположение, что простую публику пугает название: «Сельская честь». Думают – это какая-то советская опера про косилки-сеялки-молотилки.

Кстати, может быть.

Я даже предлагала начальству написать подзаголовок или вот так просто назвать «Cavalleria rusticana, или Кровавая драма на Пасху». Потому что там и впрямь дело происходит на Пасху, а в конце спектакля один темпераментный корсиканец кусает за ухо второго и умирает в результате поножовщины. Начальство смеялось, но название не меняли, и зал был полупустой.

А спектакль был замечательный, ставил финский режиссер Карри Хейсканен, вдохновенно ставил, упруго, музыкально, напряженно, со смыслами, с чудесными находками – и солисты были изумительные.

Тогда я разослала похвалы этому спектаклю и приглашения его посетить на пятьдесят шесть адресов случайно взятых людей в социальной сети «Одноклассники» (тогда я не про «контакт», ни про «фейсбук» ничего не знала). Просто – вижу приличное лицо в случайной выборке тех, кто сейчас бдит перед экраном, – и посылаю. Через пару часов сайт меня заблокировал, известив, что я занимаюсь рассылкой спама. А я все совершенно бескорыстно делала! Просто – от себя!

Но еще до блокировки откликнулась, среди прочих, одна женщина, прекрасная на вид, и спросила:

«А почему вы именно меня пригласили на этот спектакль?» А ей отвечаю (умалчивая про остальные пятьдесят пять приглашений):

«Потому что наши тенора и баритоны лучше поют, когда видят в зале красивое лицо». Ей, кажется, ответ понравился, и она говорит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.